ДОН ДЕЛИЛЛ

НОЛЬ

CoRpus

РОМАН

Дон Делилло

Ноль К

«Corpus (ACT)»

2016

УДК 821.111-31(73)
ББК 84(7Сое)-44

Делилло Д.

Ноль К / Д. Делилло — «Corpus (АСТ)», 2016

ISBN 978-5-17-095999-0

В новом романе Дона Делилло затрагиваются темы, всегда интересовавшие автора: искушения, которые готовят новые технологии, власть денег, страх хаоса. Росс Локхард вложил крупную сумму денег в секретное предприятие, где разрабатываются способ сохранения тел до будущих времен, когда новые технологии позволят вернуть их к жизни. И он, и его тяжело больная жена собираются испытать этот метод на себе. Сын Локхарда Джеффри выбирает жизнь, предпочитает радоваться и страдать, испытывать все, что уготовано ему на пути.

УДК 821.111-31(73)
ББК 84(7Сое)-44

ISBN 978-5-17-095999-0

© Делилло Д., 2016
© Corpus (АСТ), 2016

Содержание

Часть первая	6
1	6
2	8
3	11
4	15
5	22
6	32
Конец ознакомительного фрагмента.	37

Дон Делилло

Ноль К

© Don DeLillo, 2016

© Л. Тронина, перевод на русский язык, 2017

© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2017

© ООО «Издательство АСТ», 2017

Издательство CORPUS ®

Посвящается Барбаре

Часть первая Во времена Челябинска

1

– Все хотят распоряжаться концом света.

Так сказал отец, стоя у арочного окна в кабинете своей нью-йоркской конторы: управление частным капиталом, семейные трасты, развивающиеся рынки. Мы редко делили друг с другом подобные минуты, минуты задумчивости, и завершенность этому мгновению придавала одна деталь – старомодные отцовы очки от солнца, частица уличной тьмы. Я рассматривал украшавшие кабинет произведения искусства, более или менее абстрактного, и понимал, что протянувшееся за словами отца молчание относилось не к нему и не ко мне. Я думал о его жене, второй жене, которая занималась археологией, – той, чья душа и слабеющее тело вскоре, точно по графику, начнут перемещаться в пустоту.

Та минута вспомнилась мне через несколько месяцев и полмира. Пристегнутый к заднему сиденью, я ехал в бронированном хетчбэке с затемненными боковыми окнами, непрозрачными снаружи и изнутри. За перегородкой сидел водитель в футбольной майке и спортивных штанах, топорщившихся на бедре – очевидно, в кармане лежал пистолет. С час мы тряслись по ухабам, наконец он остановил машину и что-то проговорил в небольшое устройство, висевшее у него на груди. Затем голова его отклонилась на сорок пять градусов в сторону заднего правого сиденья. Я так понял, пора мне отстегивать ремень и выметаться.

Поездка на автомобиле была последним этапом моего бесконечного путешествия, я подхватил дорожную сумку, отошел от машины и постоял немного, чумая от жары и привыкая к вертикальному положению. Загудел двигатель, я обернулся. Автомобиль направился обратно, к частному аэродромчику, и оказался единственным движущимся объектом в поле зрения, но вскоре тоже должен был скрыться в складках рельефа, в меркнувшем свете, за чистейшим горизонтом.

Я завершил поворот вокруг своей оси, медленно обводя взглядом солончаки и каменные россыпи – пустынные, если не считать нескольких приземистых строений, возможно, связанных между собой, слившихся с бесцветным пейзажем. А больше ничего, нигде. Я не знал толком, куда еду, знал одно: место это уединенное. Сразу представилось, что слова, сказанные отцом тогда, у офисного окна, нашептала ему здешняя бесплодная земля, перемешанная с обломками прямоугольных каменных плит.

Теперь он был здесь, они оба были – отец и мачеха, а я приехал нанести кратчайший визит и сказать неуверенное “прощай”.

Оттуда, где я стоял, строения трудно было сосчитать. Два, четыре, семь, девять. Или всего одно – центральный блок и отходящие лучами пристройки. Мне представилось, что это безмянный город, еще не открытый, живший автономно и хорошо сохранившийся, покинутый представителями какой-то неизвестной кочевой культуры.

Тело мое, казалось, сохлось от жары, но хотелось постоять еще, посмотреть. Дома-беглецы, герметичные жилища агорафобов. Притихшие, угрюмые здания с глухими стенами и невидимыми окнами. А когда программа воспроизведения видео рухнет, они просто сложатся и исчезнут, как и задумал автор.

По мощеной дорожке я подошел к широкой арке с воротами, где стояли и смотрели на меня двое мужчин. Майки другие, штаны на бедрах топорщатся так же. Нас разделял ряд оградительных столбиков – автомобилям въезд на прилегающую территорию был закрыт.

Поодаль, с внутренней стороны арки я увидел еще две странные фигуры – закутанных в чадры женщин.

2

Отец бороду отрастил. Удивил меня. Борода у него поседела чуть больше, чем голова, и, казалось, оттеняла глаза, отчего взгляд делался пронзительнее. Зачем он отпустил бороду? Собрался новую веру принять?

– Когда это случится? – спросил я.

– Готовимся каждый день, каждый час, каждую минуту. Скоро, – ответил отец.

Ему, Россу Локхарту, широкоплечему, подвижному, было уже за шестьдесят. Солнце-защитные очки лежали перед ним на столе. Я привык встречаться с отцом в офисах – то в одном, то в другом. Он и здесь устроил временный офис: в комнате стояло несколько мониторов с клавиатурами, еще какая-то техника. Я знал, что во все это предприятие, в проект под названием “Конвергенция”, отец вложил большие деньги – конечно же, ему любезно предоставили кабинет, создали условия. Должен же он был поддерживать связь со своей сетью компаний, агентств, фондов, трастов, синдикатов и прочих учреждений, общин и кланов.

– Как Артис?

– Готова целиком и полностью. Никаких сомнений, никаких раздумий.

– Мы ведь не о бессмертии души говорим, так? А о теле.

– Тело заморозят. Погрузят в криосон.

– А когда-нибудь в будущем...

– Да. Придет время, и люди найдут способ бороться с осложнениями, из-за которых наступает смерть. Тогда разум и тело возродят, вернут к жизни.

– Идея ведь не новая, правда?

– Не новая. Но эта неновая идея скоро будет наконец воплощена.

Я как-то растерялся. Наступило утро первого дня, который мне предстояло целиком провести здесь, напротив меня сидел отец, но все было непривычным – и ситуация, и обстановка, да и этого бородатого мужчину я не узнавал. Наверное, только по пути домой начну хоть что-нибудь понимать.

– И ты веришь в эту затею безоговорочно.

– Безоговорочно. С медицинской, технической и философской точки зрения.

– Домашних животных в такие программы вписывают, – заметил я.

– Не здесь. Здесь – никаких сомнительных экспериментов. Никакого самообмана и ничего второстепенного. Мужчины и женщины. Смерть и жизнь.

Ровный тон человека, бросающего вызов.

– А мне можно посмотреть, где это все происходит?

– Вряд ли.

Сразу несколько болезней сделали Артис, жену отца, инвалидом. Насколько я знал, в основном ей становилось хуже из-за рассеянного склероза. Отец приехал сюда, чтобы сначала стать преданным свидетелем ее ухода, а затем – сведущим наблюдателем, то есть проследить за процедурами, которым первоначально подвергнут тело, дабы сохранить до того года, недели, дня, когда его повторное пробуждение сочтут безопасным и разрешат.

– Меня здесь встретили два вооруженных конвоира. Провели через охрану, потом в комнату, и двух слов не сказали. Больше мне ничего не известно. Да, еще название – с религиозным оттенком.

– Технология, основанная на вере. Вот что это такое. Иной бог. Не слишком уж и отличающийся, как выясняется, от предыдущих. Исключая только, что он реальный, он существует и делает свое дело.

– Жизнь после смерти.

– Наконец-то да.

– Конвергенция.

– Верно.

– Это что-то из математики.

– А еще из биологии. И психологии. Не будем углубляться.

Мама умерла дома. Я сидел у ее постели, а мамина подруга – женщина с тростью – стояла в дверях. Так всегда вспоминалась и будет вспоминаться мне эта минута, вместившая только женщину на постели, постель, женщину в дверях, железную трость.

Росс продолжал:

– Здесь есть место, вроде хосписа, я иногда бываю там с людьми, которых готовят к процедуре. Смесь предвкушения и трепета. Они гораздо ощутимей, чем страх или неуверенность. Люди благоговеют, люди потрясены. Они переживают это вместе. Такого они и вообразить не могли. У них одна миссия, один пункт назначения. И я невольно пытаюсь представить, как выглядело такое место много веков назад. Приют, убежище для странников. Для пилигримов.

– Для пилигримов. Понятно. Назад, к раннему христианству. А мне можно в этом хосписе побывать?

– Вряд ли.

Отец передал мне браслет, к нему крепился маленький диск. Сказал, это вроде GPS-браслета, с помощью которого полиция отслеживает местонахождение подозреваемого, ожидающего суда. Мне разрешен доступ в некоторые помещения на этом этаже и на следующем, больше никуда. А если я сниму браслет, охрана сразу же узнает.

– Не спеши судить обо всем, что видишь и слышишь здесь, – сказал отец. – Все это создали серьезные люди. Отнесись к их замыслу с уважением. И к самому месту тоже. Артис говорит, нужно понимать, что работа здесь не завершена, это как раскопки, как некая форма наземного искусства, лендарта. Выстроено из земли и в то же время уходит в землю. Доступ сюда ограничен. Границу установила тишина – молчат люди, молчит природа. А еще это место чем-то напоминает гробницу. Земля – определяющее начало. Вернуться в землю, выйти из земли.

От нечего делать я бродил по коридорам, почти пустым – в общей сложности мне встретилось три человека, и каждому я кивнул, и каждый лишь быстро и неприязненно глянул на меня. Стены зеленые, разных тонов. Широкий коридор, поворот, новый коридор. Стены голые, без окон, двери далеко друг от друга и все заперты. Двери приглушенных смежных оттенков – я смотрел на них и раздумывал, стоит ли искать в этом разъятом спектре какой-нибудь смысл. Всякий раз занимаюсь этим в незнакомой обстановке. Пытаюсь внести смысл, объяснить или хотя бы определить свое положение в новом месте, узаконить свое неудобное присутствие.

В конце последнего коридора в потолочной нише я увидел экран. Он поехал вниз, раздвигаясь до самых стен, и опустился почти до пола. Я медленно приблизился. Сначала показывали только воду. По лесам бежали ручьи, волны накатывали на берега. Я видел дождь, хлещущий по террасным полям, а потом один только дождь и ничего больше, а потом людей: одни бежали, другие беспомощно сидели в скачущих по порогам лодочках. Я видел затопленные храмы, домики, сползающие с горных склонов. Я смотрел, как на улицах города поднимается вода, как тонут автомобили вместе с водителями. Видеоряд на экране такого размера сложно воспринять как новостной репортаж. Да и картинка расплывалась, и длинные эпизоды не умещались в рамки обычной телепередачи. Прямо передо мной, на уровне глаз, на кривобоким стуле в руинах разрушенного оползнем дома сидит женщина, близкая, реальная, в натуральную величину. Лицо мужчины, его глаза пристально смотрят на меня из-под воды. Я не мог не отступить, но и взгляд отвести не мог. Трудно было оторваться. В конце концов я оглянулся, ожидая, что в коридоре кто-нибудь появится, другой свидетель,

который встанет рядом и тоже будет смотреть, как на экране одна за другой возникают и повисают картинки.

Звука не было.

3

В комнате, где поселились Артис и Росс, я застал только ее. Она сидела в кресле в халате и тапочках и, кажется, спала.

Что сказать? С чего начать?

Сказать, например, “ты красивая”, а она и правда была красивая – печальной красотой: похудела от болезни, лицо вытянулось, пепельные волосы растрепаны, бледные руки лежат на коленях. Когда-то я называл ее про себя Второй Женой, затем – Мачехой, а потом уже – Антропологом. Последний ярлык был уже не столь уничижительным, и прежде всего потому, что я понемногу узнавал Артис. Мне нравилось думать, что она – из ученых-аскетов, подолгу живет в экспедиционных лагерях безо всяких удобств и может легко приспособиться к любым суровым условиям.

Зачем отец просил меня приехать?

Хотел, чтобы я был с ним, когда Артис не станет.

Я сидел на банкетке, осматривался, ждал, и скоро мои мысли оторвались от неподвижной фигуры в кресле, и возник он, мы возникли – Росс и я – в миниатюризированном мысленном пространстве.

Отца сделали деньги. Он занимался анализом влияния природных катаклизмов на прибыль и рано приобрел известность на этом поприще. Отец любил беседовать со мной о деньгах. “Лучше про секс расскажи, вот что ему пригодится”, – говорила мама. Язык денег был сложным. Отец давал определения терминов, рисовал графики и всегда, кажется, существовал в экстренном режиме – торчал на работе по десять-двенадцать часов чуть не каждый день, или мчался в аэропорт, или готовился к конференции. Дома, стоя перед зеркалом в человеческий рост, повторял наизусть доклад, над которым работал, – об уровне риска, об офшорных зонах, оттачивал жестикуляцию и мимику. Крутил роман с временной секретаршей. Бежал Бостонский марафон.

А что делал я? Бурчал что-то, бродил из угла в угол, выбрил на голове полосу от лба до затылка – словом, стал его личным антихристом.

Мне было тринадцать, когда отец уходил. Помню, я делал домашнее задание по тригонометрии, а он пришел сообщить мне об этом. Сел напротив, за столик, где в старой банке из-под повидла торчали мои острейшие карандаши. Отец говорил, я продолжал делать уроки. Смотрел на формулы и писал в тетради строчка за строчкой: синус косинус тангенс.

Почему отец ушел от матери?

Они оба об этом никогда не говорили.

Несколько лет спустя я поселился на севере Манхэттена – снимал там полторы комнаты. И однажды вечером увидел по телевизору отца – не знаю, по какому каналу, сигнал был плохой. Двоящийся Росс говорит по-французски из Женевы. А я знал, что отец владеет французским? Или, может, вообще сомневался, что этот человек – мой отец? Он говорил что-то про “экологию безработицы” – так написали в субтитрах. Я стоял как вкопанный и смотрел.

И теперь вот Артис в этом малоправдоподобном месте, в мираже посреди пустыни, и скоро ее законсервируют. Обледенелое тело в массивном саркофаге. А потом – будущее за гранью воображимого. Вдуматься только в слова. Время, судьба, шанс, бессмертие. А тут я и моя бесхитростная история, мое щербатое прошлое, воспоминания, к которым я волей-неволей обращаюсь, потому что они мои, лезут на меня из каждого угла, и невозможно закрыться от них и не переживать.

Однажды в Пепельную среду я зашел в церковь, встал в очередь. Смотрел по сторонам – на статуи, таблички, колонны, витражные окна, а потом подошел к алтарной ограде и

преклонил колени. Приблизился священник, поставил мне свою метку – мазнул священным пеплом, впечатал его большим пальцем в мой лоб. *Прах ты. Я не был католиком, родители мои не чтити католическую веру.* Не знаю, какая у нас была вера. Ешь и Спи – вот наша вера. Отнеси Папин Костюм в Химчистку.

Когда отец ушел, я решил, что быть брошенным – или полуброшенным – ребенком не так уж и страшно. Мы с мамой друг друга понимали, доверяли друг другу. Переехали в Квинс, в так называемую квартиру с садом, только никакого сада там не было. И это нас обоих устраивало. Я отрастил волосы, распрощался со своей туземной прической. Мы с мамой ходили гулять вместе. Ну разве американские мамы и их сыновья-подростки это делают? Она не читала нотаций – может, только изредка – по поводу моего девиантного поведения. Мы ели безвкусную еду, гоняли теннисный мячик на городском корте.

Но вернемся к священнику в рясе и к его большому пальцу, втершему, вживившему горстку пепла в мой лоб. *И в прах возвратишься.* Я бродил по улицам, хотел, чтоб на меня смотрели. Разглядывал свое отражение в витринах. Я не понимал, что это было. Какой-то сумасбродный благоговейный жест? Или насмешка над Святой Матерью Церковью? Или я старался во что бы то ни стало привлечь чей-то взгляд? Хотелось проходить с этой меткой много дней, много недель. Когда я вернулся домой, мама, увидев меня, отстранилась, будто хотела рассмотреть получше. Моментально произвела оценку. Я сдержал улыбку, свой оскал могильщика решил не демонстрировать. Какая скука эти среды, сказала она, и во всем мире так. Горстка пепла, малюсенькая, и среда, и почему-то все об этом помнят.

Со временем мы с отцом вновь начали сближаться, постепенно преодолевая разделявшие нас противоречия, и, когда он решил помочь мне уладить кое-какие дела с учебой, я не возражал, но его дел сторонился как мог. А спустя еще несколько лет – уже в другой жизни, кажется, – я познакомился с женщиной, что сидела теперь передо мной, и голова ее клонилась к лучу света от настольной лампы.

И наконец, в третьей жизни – ее жизни – Артис открыла глаза и увидела напротив меня.

– Джеффри...

– Я вчера приехал, поздно вечером.

– Росс мне сказал.

– И, как видишь, не шутил.

Я взял ее за руку. Кажется, и сказать было больше нечего, но мы проговорили час. Она почти шептала, и я тоже – это казалось уместным в таких обстоятельствах и в такой обстановке: мертвая тишина в длинных коридорах, ощущение замкнутого пространства, изоляции, новое слово в ленд-арте – погруженные в анабиоз человеческие тела.

– С тех пор как я здесь, мои мысли все время сосредоточены на мелочах, а потом на мелочах в этих мелочах. Сознание будто разматывается, раскручивается в обратную сторону. Я вспоминаю давно забытые подробности. Размышляю о том, что когда-то от меня ускользнуло или показалось незначительным, не заслуживающим воспоминания. Это болезнь, конечно, а может, лекарства. Я заканчиваюсь, иссякаю.

– На время.

– Тебе трудно в это поверить? Мне нет. Я изучила вопрос.

– Само собой.

– Ты настроен скептически, конечно. Скептицизм необходим. Но однажды начинаешь понимать: есть то, что больше и долговечнее.

– Простой вопрос. Практический, не скептический. Почему ты не в хосписе?

– Росс хочет, чтобы я была рядом. Доктора навещают меня регулярно.

Через толпу слогов в последнем слове Артис пробила с трудом и стала говорить медленнее.

– Или катят по коридорам в темную кабину, и мы ездим по шахте вверх-вниз, а может, вправо-влево. В конце концов отвозят в кабинет – смотрят, слушают, ни слова не говорят. Здесь где-то сиделка есть. Может, и не одна. Мы с ней на китайском разговариваем. Или с ним.

– Ты думаешь о том, в какой мир тебе предстоит вернуться?

– Я думаю о каплях воды.

Я ждал.

– Думаю о каплях воды, – повторила она. – Стою, бывало, в душе и наблюдаю, как капля медленно ползет по прозрачной душевой занавеске. Все мое внимание сосредоточено на капле, капельке, маленькой сфере, я жду: вот сейчас она докатится до рубчика или складки и начнет менять форму, – а струя воды лупит меня по голове. Сколько лет этому воспоминанию? Двадцать, тридцать? Не знаю. О чем я в тот момент думала? Не знаю. Может быть, в каком-то смысле я наделяла эту каплю жизнью. Одушевляла, анимировала. Не знаю. А пожалуй что я вообще ни о чем особенно не думала. По голове хлещет струя воды, холоднющая, а я даже руки не протяну, чтоб ее отрегулировать. Мне нужно только одно: смотреть на каплю, как она вытягивается, мутнеет. Нет, она не может мутнеть, она слишком чиста и прозрачна. И я стою, по голове хлещет вода, и думаю: нет, не мутнеет. Мутнеет от грязи или слизи, это простейшая жизнь на дне океана – жизнь микроскопических морских существ.

Она говорила, как привидение, замолкала, размышляла, припоминала, а когда возвратилась в это мгновение, в эту комнату, ей пришлось взять меня, Джеффри, сына такого-то, и снова поместить, усадить напротив. Меня называли Джеффом – все, кроме Артис. Она произносила этот лишний слог своим мягким голосом, и я чувствовал: я есть или у меня есть второе я, некто более достойный и надежный, человек, который ходит, расправив плечи, – начисто выдуманый.

– Иногда в темной комнате, – сказал я, – мне хочется закрыть глаза. Я выхожу в комнату и закрываю глаза. В спальне подхожу к комоду рядом с кроватью, на котором лампа стоит. И закрываю глаза. Может, я подчиняюсь темноте? Не знаю даже. Может, я приспосабливаюсь? Позволяю темноте мной командовать? Что это? Так ведет себя ребенок со странностями. Каким я и был. Но я до сих пор так делаю. Вхожу в темную комнату, бывает, подожду немного, постою в дверях, а потом закрываю глаза. Может, я испытываю себя, делая темноту еще темнее?

Помолчали.

– Делаем что-то, потом забываем, – сказала Артис.

– Только вот мы не забываем. Такие, как мы.

Хорошо прозвучало. Такие, как мы.

– Маленькая шероховатость, личная особенность. Росс об этом говорит. Говорит, что я как другая страна. Мелочи и мелочи в этих мелочах. Вот так я теперь существую.

– В темной спальне пробираюсь к комоду, пытаюсь определить, где стоит настольная лампа, а потом дотрагиваюсь до абажура или нащупываю его, просовываю под него руку, чтобы найти рычажок, переключатель, кнопку и включить свет.

– А потом открываешь глаза.

– Думаешь? Ребенок со странностями ведь может и не открыть.

– Но только по понедельникам, средам и пятницам. – Она с трудом восстановила привычную цепочку дней.

Из дальней комнаты кто-то вышел – женщина в сером комбинезоне, с темными волосами и смуглым деловитым лицом. На руках у нее были перчатки из латекса, она встала наизготовку за спиной у Артис и посмотрела на меня.

Пора уходить.

Артис тихо проговорила:

– Это лишь я, стоящее в ванне тело, человек, отгороженный полиэтиленовой занавеской, который наблюдает, как капля воды скользит вниз по мокрой занавеске. Эта минута настала и будет забыта. Она кажется неразложимой. О ней ни разу не вспомнят, пока не начнется обратная перемотка. Может, поэтому она не кажется особенной. Это лишь я. Я не думаю о ней. Я просто проживаю ее и забываю. Однако не навсегда. Забываю, но вспоминаю теперь, в этом необычном месте, где все, что я когда-либо говорила или делала, о чем думала, под рукой, прямо тут, и можно это все собрать, упаковать, чтоб оно не потерялось, когда я проснусь в следующей жизни.

Это место называлось “пищеблок” и вполне отвечало своему названию – отсек, модуль с четырьмя низенькими столиками, где кроме меня оказался еще один человек в одеянии, похожем на монашеский плащ. Я ел и наблюдал за ним, вернее, подглядывал. Отрежет кусок, положит в рот и вдумчиво пережевывает. Когда человек встал и направился к выходу, под плащом у него я увидел вылинявшие голубые джинсы, на ногах – тенниски. Есть можно было, а вот понять, что ешь, – не всегда.

Я приложил браслет с диском к магниту, вмурованному в середину двери, и вошел в свою комнату. Маленькую и безликую. До такой степени ничем не примечательную, что о ней можно было сказать только одно: четыре стены. Потолок низкий, кровать как кровать, кресло как кресло. Окон не было.

Через двадцать четыре часа, по оценкам медиков, Артис умрет, а я, соответственно, отправлюсь домой, Росс же задержится здесь – он должен лично удостовериться, что все процедуры, связанные с погружением в криосон, проведут своевременно.

Но я уже чувствовал себя пленником. Посетителям не разрешалось покидать здание, и хотя здесь, среди обломков докембрийской породы, идти было некуда, этот запрет меня тяготил. Цифровая связь в комнате отсутствовала, и мой смартфон лежал в отключке. Я немножко размялся, разогнал кровь. Покачал пресс, попрыгал. Попробовал вспомнить, что снилось ночью.

В комнате мне показалось, что это место впитывает меня, я делаюсь частью его сущностного наполнения. Я сидел в кресле с закрытыми глазами. И видел себя сидящим в кресле. Видел весь комплекс зданий откуда-то из стратосферы – цельносварной массив, крыши и опаленные солнцем стены образуют углы разной величины.

Я видел капли воды, за которыми наблюдала Артис, – одна за другой они стекали по полиэтиленовой занавеске.

Видел смутно обнаженную Артис, ее обрызганное водой лицо. Я, настоящий, закрывал глаза и видел, как закрывает глаза она, воображаемая.

Хотелось встать с кресла, выйти из комнаты, попрощаться с Артис и уехать. Я даже уговорил себя принять вертикальное положение, подойти к двери и открыть ее. Но лишь опять отправился бродить по коридорам.

4

Я бродил по коридорам. Двери здесь были приглушенных оттенков синего, и я пробовал дать этим цветам название. Морской, небесный, сизый, индиго... Все они казались мне неподходящими, и чем дальше я шел, чем больше дверей рассматривал, тем глупее себя чувствовал. Открылась бы какая-нибудь дверь, вышел бы из нее кто-нибудь. Узнать бы, где я и что тут происходит. Мимо быстрым широким шагом прошла женщина, я едва удержался, чтоб и ее оттенку не дать название или не начать разглядывать ее в поисках какого-то знака, какой-то подсказки.

И вдруг меня осенило. Все просто. За дверьми никого нет. Я шел и размышлял. Строил предположения. Где-то в этом здании, на определенных этажах, расположены кабинеты. А в других местах коридоры – просто декоративная конструкция, и двери – лишь элемент глобальной схемы, которую Росс в общих чертах обрисовал. А может, я вижу произведение своего рода визионерского искусства; оно использует цвет, форму, местные материалы, оно – сопровождение, оболочка, в которую встроены этот проект, в которой заключено ядро – работа ученых, экспертов, техников, медиков.

Какая, однако, идея. Да-да, это вполне соответствует обстоятельствам, к тому же в искусстве самое невероятное или рискованное оказывается порой и самым убедительным. Нужно только подойти к двери и постучать. Выбрать цвет, выбрать дверь и постучать. Если никто не откроет, постучать в следующую дверь и так далее. Я боялся, однако, обмануть доверие отца, который пригласил меня сюда. И потом, есть скрытые камеры. За коридорами должны наблюдать – где-то сидят люди с ничего не выражающими лицами и в полной тишине следят за мониторами.

Навстречу мне двигались трое, один из них – мальчик в похожей на унитаз инвалидной коляске с электроприводом. Лет девяти-десяти. Он смотрел на меня не отрываясь. Верхнюю часть его тела как-то жутко перекосило, но взгляд был живой, и мне захотелось остановиться и поговорить с ним. Однако взрослые дали понять, что делать этого нельзя. Они шли по бокам коляски, глядели прямо перед собой – видимо, иное было не дозволено, и не избавили меня, замешкавшегося из самых добрых побуждений, от неловкости.

Я повернул за угол и пошел по коридору, где стены были выкрашены темно-коричневым – густо, с потеками, словно нарочно, чтобы казаться вымазанными в грязи. Двери соответствующих цветов, все одинаковые. А еще ниша в стене, и в ней какая-то фигура – руки, ноги, голова, туловище – неподвижная. Оказалось, манекен – голый, лысый, безликий, красно- или желто-коричневого цвета или просто ржавого. Грудь тоже наличествовала, у этого была грудь, и я остановился, чтобы рассмотреть фигуру – человеческое тело, исполненное в пластмассе, шарнирную модель женщины. Я представил, как кладу руку ей на грудь. Сделать это, казалось, просто необходимо, а уж тем более мне. Голова у манекена была почти овальная, что означает положение рук, я пытался определить – самозащита? отстранение? – нога отставлена назад. Фигура вращалась в пол и не была огорожена стеклом. Одну руку положить на грудь, другой медленно провести по бедру. Так я и сделал бы, будь я в некотором царстве-государстве. А здесь и сейчас работают камеры, мониторы и на самом манекене, даже не сомневаюсь, сигнализация. Я отступил назад и присмотрелся. Неподвижная фигура, пустое лицо, пустой коридор, поздний вечер, кукла, отпрянувшая в страхе. Я отошел еще дальше и еще постоял, посмотрел.

В конце концов я решил: нужно все-таки выяснить, есть ли что-нибудь за этими дверями. Я пренебрег возможными последствиями. Я пошел дальше по коридору, выбрал дверь и постучал. Подождал, направился к следующей и снова постучал. Прodelал это шесть

раз и подумал: еще одна дверь и все, – но на сей раз она отворилась, на пороге стоял мужчина в костюме, галстук и чалме. Я смотрел на него, раздумывая, что сказать.

– Простите, не в ту дверь постучал.

Он посмотрел на меня сурово.

– А здесь все двери – не те.

Кабинет отца я не сразу нашел.

Еще когда родители были женаты, отец однажды назвал маму хабалкой. Может, и в шутку, но я решил посмотреть в словаре, что это значит. Грубая женщина, хамка. Пришлось искать, что значит “хамка”. Вздорная, ворчливая женщина, и еще один синоним, *nag*. От древнеанглийского слова, означавшего “землеройка”. Пришлось искать землеройку. Словарь отослал меня ко второму слову и его первому значению. Небольшое насекомоядное млекопитающее. Пришлось искать “насекомоядное”. В словаре было написано, это означает “питающийся насекомыми”: от латинского *insectus* – “насекомое” и *vora* – “питающийся”. Я стал искать “питающийся”.

Прошло года три-четыре, я тогда пытался читать длиннющий, серьезный европейский роман тридцатых годов – перевод с немецкого – и наткнулся на слово “хабалка”. И тут же перенесся во времена, когда родители жили вместе. Но попробовал представить эту совместную жизнь – мама плюс папа минус я – и не смог. Я ничего об этом не знал. Росс и Мэдлин наедине: о чем они говорили, как выглядели, какими людьми были? Я мог вообразить только отца – вокруг него все ходило ходуном. А мама сидела рядом, в этой же комнате, худенькая женщина в брюках и серой рубашке. Она спросила, как книга, – я только рукой махнул: безнадежно, мол. Одолеть этот роман было непросто – я продирался сквозь бурю грандиозных страстей, продирался сквозь мелкие буквы на потрепанных, отсыревших страницах в бумажном переплете. Мама посоветовала отложить книгу и вернуться к ней года через три. Но я хотел, я должен был прочесть ее тогда, даже если б понял, что в жизни не дочитаю. Мне нравились книги, которые могли доконать, которые помогали понять, что я – сын, читающий такие книги назло отцу. Я любил читать, сидя на нашем бетонном балкончике, откуда частично видно было возвышавшееся среди мостов и башен Манхэттена стекляннo-стальное кольцо – там работал отец.

Если Росс не сидел за столом, то стоял у окна. Но в этом кабинете окон не было.

– Что Артис? – спросил я.

– Обследуют. Потом ей дадут лекарства. Какое-то время она будет на них, так надо. “Под вялым кайфом”, как она это называет.

– Хорошо сказано.

“Под вялым кайфом”, – повторил отец. Ему тоже понравилось. Он был в одной рубашке, на носу – солнцезащитные очки с ностальгическим названием *KGB*, поляризационные, с фотохромными изогнутыми линзами.

– Мы с ней поговорили.

– Да, она мне сказала. Вы еще увидите, еще поговорите. Завтра.

– Ну да, между делом. В этом месте.

– А что место?

– Я ведь знаю о нем только с твоих слов. Я ехал сюда вслепую. Сначала машина с шофером, потом чартерный рейс из Бостона в Нью-Йорк.

– Сверхзвуковой самолет.

– В Нью-Йорке сели еще двое. И мы полетели в Лондон.

– Сослуживцы.

– Ничего мне не сказали. Насчет того, что меня интересовало.

– И вышли в Гатвике.

– А я думал, в Хитроу.

– В Гатвике.

– Там на борт поднялся какой-то человек, забрал мой паспорт, потом принес обратно, и мы полетели дальше. Я был один в салоне. Спал, кажется. Потом ел, опять спал, а потом мы сели. Пилота я так и не увидел. Подумал, что мы во Франкфурте. Опять пришел какой-то человек, взял у меня паспорт, принес обратно. Я посмотрел штемпель.

– Цюрих, – подсказал отец.

– Потом в самолет сели трое, мужчина и две женщины. Та, которая была постарше, мне улыбнулась. Я пытался расслышать, что они говорят.

– А говорили они на португальском.

Он явно получал удовольствие – развалился в кресле и говорил с самым серьезным видом, обращаясь к потолку.

– Они разговаривали, но ничего не ели. Я перекусил, а может, это потом было, в следующий перелет. Самолет сел, они сошли, а меня какой-то человек провел через летное поле и посадил в другой самолет. Лысый мужик, метра два ростом, в темном костюме, на шее цепь с большим серебряным медальоном.

– Ты был в Минске.

– В Минске.

– Это в Беларуси.

– Штампа в паспорт, по-моему, не поставили. А самолет был другой, не тот, что вначале.

– Чартерный, компания “Русджет”.

– Маленький и не такой удобный, пассажиров других не было. Беларусь, значит.

– Оттуда ты полетел на юго-восток.

– Спать хотелось, соображал плохо, устал как собака. Не помню, что было на следующем отрезке пути – останавливались мы или нет. И сколько вообще их было, этих отрезков. Я спал, мне что-то снилось, мерещилось...

– Что ты делал в Бостоне?

– Там моя девушка живет.

– Ты и твои девушки все время живете в разных городах. Почему?

– Чтобы больше ценить время.

– А здесь все совсем иначе.

– Да. Я уже понял. Здесь нет времени.

– Или оно так необъятно, что, кажется, даже течет по-другому.

– Вы прячетесь от него.

– Мы на него надеемся.

Теперь и я развалился в кресле. Хотелось курить. Я бросал дважды и теперь хотел снова начать и снова бросить. Пожизненный цикл – так мне это представлялось.

– Я могу задать вопрос или должен молча принимать все как есть? Хочу знать правила.

– Какой вопрос?

– Где мы?

Он медленно кивнул, обдумывая ответ. Потом рассмеялся.

– Ближайший относительно крупный город находится за границей, называется Бишкек. Столица Киргизии. Подальше Алма-Ата, она больше, это в Казахстане. Но Алма-Ата не столица. Была когда-то. А теперь столица Астана, там золотые небоскребы и прямо в торговом центре можно полежать на песчаном пляже, а потом поплавать в бассейне с искусственными волнами. Когда узнаешь, что тут как называется и как это произносить, то понемногу освоишься.

– Так долго я здесь не пробуду.

– И то верно. Правда, прогнозы врачей насчет Артис изменились. Все откладывается еще на сутки.

– Я думал, время определено с точностью до секунды.

– Тебе не обязательно оставаться. Она поймет.

– Я останусь. Останусь, конечно.

– Процесс контролируют самым тщательным образом, но организм порой заставляет вносить коррективы.

– Она умрет естественной смертью или ей помогут испустить последний вздох?

– Ты ведь понимаешь, что последним вздохом ничего не заканчивается. Понимаешь, что он лишь предваряет нечто большее, что будет продолжение.

– Уж очень деловой подход, по-моему.

– На самом деле очень человечный.

– Человечный.

– Быстро, без вреда и без боли.

– Без вреда, – повторил я.

– Необходимо, чтобы все происходило в полном соответствии с отлаженной методикой. Которая лучше всего подходит для ее организма, ее болезни. Артис может прожить еще несколько недель, но что в результате?

Он подался вперед, положил руки на стол.

– Почему здесь? – спросил я.

– Есть другие лаборатории, технологические центры – еще в двух странах. А здесь база, штаб-квартира.

– Но почему в этой пустыне? Почему не в Швейцарии? Не в пригороде Хьюстона?

– Нам это и нужно – быть подальше от всего. Здесь все условия. Надежные энергогенераторы, мощные механизированные системы. Взрывозащитные стены, укрепленные перекрытия. Структурное резервирование. Противопожарная защита. Патрулирование с земли и с воздуха. Усовершенствованная система киберзащиты. И так далее.

Структурное резервирование. Нравилось ему, как это звучит. Он отодвинул ящик стола и выставил бутылку ирландского виски. Указал на поднос с двумя стаканами, я пошел за ними. Вернувшись к столу, осмотрел стаканы – не осел ли на них проникший снаружи песок и каменная пыль.

– Где-то здесь в кабинетах сидят люди. Прячутся. Что они делают?

– Создают будущее. Новую концепцию будущего. Не похожую на другие.

– И непременно здесь.

– В здешних местах тысячи лет обитали кочевники. Чабаны пасли овец в чистом поле.

Эту землю не трепала, не прессовала история. История здесь похоронена. Лет тридцать назад Артис работала на раскопках где-то к северо-востоку отсюда, рядом с Китаем. История похоронена в курганах. Мы вышли за рамки. Мы забываем все, что знали.

– Да здесь собственное имя забудешь.

Он поднял стакан и выпил. Виски тройной перегонки, редкий купаж, выпускается в весьма ограниченном количестве. В свое время отец все это мне подробно объяснил.

– А как насчет денег?

– Чьих?

– Твоих. Ты, разумеется, немало отвалил.

– Я всегда считал себя большим человеком. Моя работа, достижения, преданность делу... Потом я смог уделить время и другим вещам – искусству, я изучал концепции, традиции, инновации. Все это меня увлекло. И само произведение искусства, картина, висящая на стене... Потом я принялся за редкие книги. Часы, дни напролет проводил в библиотеках, в закрытых фондах, и не потому, что хотел сделать какое-нибудь приобретение.

– Ты имел доступ в закрытые для других места.

– Но я шел туда не для того, чтобы приобретать. А чтобы стоять и смотреть. Или сидеть на корточках и смотреть. Читать названия на корешках бесценных книг, стоявших в ряд на зарешеченных полках. Вместе с Артис. А однажды, в Нью-Йорке, вместе с тобой.

Я почувствовал, как виски, его гладкое пламя, проникает внутрь, и на мгновение прикрыл глаза, а Росс тем временем перечислял по памяти заглавия книг, которые ему довелось увидеть в библиотеках мировых столиц.

– Но что же еще серьезнее денег? – спросил я. – Как это называется? Риски. Каковы твои риски в этом проекте?

Я не напирал. Говорил спокойно, без иронии.

– Когда я все изучил и понял, каково значение этого замысла, каков потенциал, к каким глобальным последствиям приведет его реализация, – сказал отец, – я принял решение и уже не передумаю.

– А ты хоть раз передумал насчет чего-нибудь?

– Насчет первого брака.

Я уставился в свой стакан.

– А кем она была?

– Хороший вопрос. Непростой. Мы родили сына, но в остальном...

Смотреть не него не хотелось.

– И все же кем она была?

– В сущности только одним. Твоей матерью.

– Назови ее имя.

– Разве мы с ней когда-нибудь называли друг друга по имени?

– Назови ее имя.

– Мы были своеобразными супругами, хотя и не столь уж, а разве такие супруги вообще называют друг друга по имени?

– Всего один раз. Мне нужно услышать от тебя ее имя.

– У нас был сын. Мы его называли по имени.

– Сделай одолжение. Ну давай же. Назови.

– Как ты недавно сказал? Здесь собственное имя забудешь. Есть много причин утратить имя.

– Мэдлин, – сказал я. – Мэдлин, моя мать.

– Да-да, теперь припоминаю.

Отец улыбнулся, откинулся назад, притворившись, что на него нахлынули воспоминания, потом изменил выражение лица – если этим представлением он хотел меня побольнее уязвить, то время выбрал правильно.

– Ты думай о том, что здесь, о тех, кто здесь, – вот о чем. Подумай о том, что всем твоим маленьким несчастьям, накопившимся за столько лет, придет конец. Ты мысли шире личных переживаний. Оставь их. Люди, которые здесь собрались, не только медицинскими разработками заняты. Сюда привлечены социальные теоретики, биологи, футурологи, генетики, климатологи, нейробиологи, психологи и этики, если я правильно их называю.

– И где они все?

– Одни тут живут, другие приезжают-уезжают. Здесь множество уровней. Все светлые умы собрались. Общаются на международном английском, но на других языках тоже. Если надо, есть переводчики – люди и программы. И филологи есть, они разрабатывают новый, усовершенствованный язык специально для Конвергенции. Корни слов, флексии, даже жесты. Люди выучат его, будут на нем говорить. Этот язык поможет нам выразить то, что мы не можем сейчас понять, чего сейчас не понимаем, осознать самих себя и других как единство и тем самым расширить возможности.

Он сделал еще глоток-другой, осушил стакан, поднес его к носу и понюхал. Стакан был пуст. Пока.

– Мы даже не сомневаемся, что здесь, вокруг этого поселения, однажды вырастет новый мегаполис, а может, и отдельное государство, не похожее на известные нам. Вот что я имел в виду, называя себя большим человеком.

– С большими деньгами.

– Да, с деньгами.

– С чемоданами денег.

– Есть еще благотворители. Частные лица, организации, корпорации и даже правительства некоторых государств, тайно финансирующие проект через свои спецслужбы. Умные люди в самых разных сферах восприняли его как откровение. Они понимают, что время пришло. Дело касается не только науки, технологий, но и политики, и даже военной стратегии. Иной способ мышления, иной способ жизни.

Отец аккуратно налил – “на палец”, как он любил говорить. Себе, потом мне.

– Сначала я делал все ради Артис, конечно. Ради этой женщины – такой, какая она есть, ради всего, что она для меня значит. А потом вдруг понял, что полностью разделяю – и идею, и веру.

Подумай вот о чем, сказал он. Подумай, сколько ты проживешь – в годах, и сколько – в секундах. В годах – лет семьдесят. По нынешним меркам неплохо. А теперь, говорит, посчитай в секундах. Переведи свою жизнь на секунды. Семьдесят лет – это сколько?

Отец замолчал. Считал, наверное. Секунды, минуты, часы, дни, недели, месяцы, годы, десятилетия.

Секунды, сказал он. Начинай считать. Твоя жизнь в секундах. Подумай о возрасте Земли, геологических эрах, о том, как появляются и исчезают океаны. Подумай о возрасте галактики, Вселенной. О миллиардах-миллиардах лет. И о нас – о тебе, обо мне. Мы живем и умираем в одно мгновение.

Секунды, сказал он. Нашу жизнь можно измерить секундами.

Отец был без галстука, в голубой рубашке, две верхние пуговицы расстегнуты. У меня крутилось в голове, что цвет его рубашки подходит к цвету одной из дверей, над которыми я сегодня ставил опыт. Возможно, я просто пытался скомпрометировать отцовы рассуждения – такая форма самозащиты.

Он снял очки, положил на стол. Отец казался усталым, постаревшим. Посмотрел я, как он выпил, как налил еще, и от протянутой бутылки отказался.

– Скажи мне пару недель назад, – говорю, – обо всем этом – об этом месте, об этих идеях – кто-нибудь, кому бы я полностью доверял, я, наверное, поверил бы. Но вот я здесь, среди всего этого, а поверить трудно.

– Тебе надо хорошенько выспаться.

– Бишкек. Правильно?

– И Алма-Ата. Но и то и другое достаточно далеко. А к северу отсюда, дальше-дальше к северу, русские – в советское время – испытывали ядерные бомбы.

Над этим мы призадумались.

– Тебе нужно выйти за рамки личных переживаний, – сказал отец. – За рамки своих стереотипов.

– Мне нужно окно, чтоб на улицу смотреть. Вот мой стереотип.

Он поднял стакан, подождал, пока я подниму свой.

– Однажды я повел тебя на старую детскую площадку – вернее, то, что от нее осталось – рядом с нашим домом. Посадил на качели. Толкаю, жду, снова толкаю, – начал отец. – Качели взлетают, качели опускаются. Потом ты качался на доске. Я посадил тебя с одной стороны, сам встал с другой и потихоньку надавливал на свой край. Ты поднимался вверх, вцепившись

в ручку. А потом я поднимал край доски, и ты опускался. Вверх-вниз. Чуть быстрее. Вверх-вниз, вверх-вниз. Я следил, чтобы ты крепко держался за ручку, и приговаривал: вижу – не вижу, вижу – не вижу.

Я помедлил, а потом поднял стакан, раздумывая, что же за этим последует.

Я стоял в длинном коридоре и смотрел на экран. Сначала только небо, потом – первое предвестие опасности: согнулись верхушки деревьев, как-то странно изменилось освещение. А дальше, через мгновение – вращающийся столб ветра, мусора, пыли. Постепенно весь экран заполняет темная воронка, она колыхается, изгибается – беззвучно, а потом – еще одна, слева, вдалеке, поднимается от горизонта. Место равнинное, открытая панорама, и торнадо – во весь экран, в ужаснувшейся тишине, – вот сейчас, думал я, ее прервет оглушительный рев.

Таков наш земной климат. Я видел торнадо по телевизору много раз и ждал, что дальше покажут путь шторма: завалы, разрушения, ряды поломанных домов – крыши снесло, помялась обшивка.

Это самое и показали: целые улицы сравняло с землей, школьный автобус лежит на боку, и еще – люди, в замедленной съемке они приближаются ко мне и, кажется, сейчас шагнут с экрана прямо в коридор; печальная процессия – мужчины и женщины, черные и белые, они несут то, что удалось спасти, а перед домами на деревянных досках разломанных настилов разложены в ряд мертвецы. Камера задержалась на трупах. Я вижу в подробностях, как жестоко поработала над ними смерть, и это нелегко. Но я смотрю, будто таков мой долг перед чем-то или перед кем-то, может, перед самими жертвами, я чувствую себя одиноким свидетелем, присягнувшим выполнить свою задачу.

И вот – другое место, другой город и время дня, на переднем плане – девушка, она пересекает экран, едет мимо меня на велосипеде, быстро, нервно крутит педали – почему-то это производит комический эффект, а за ней – смерч, воронка километра полтора в диаметре, она еще далеко, она выползает из трещины между небом и землей; сменяется кадр: тучный мужчина – он сверхреалистичен, – пошатываясь, спускается по ступенькам в подвал, люди прячутся, целыми семьями набиваются в гаражи, я вижу их лица в темноте, и снова – велосипедистка, теперь она едет в другую сторону, беззаботно и неспешно, словно это сцена из старого немого кино, а она – Бастер Китон, пребывающий в блаженном неведении, следом – вспышка красноватой молнии, и вот оно уже здесь, тяжело приземляется, засасывает полдома – чистейшая мощь, а грузовик и сарай прямо у него на пути.

Белый экран. Я стою жду.

И вижу голую пустыню, срезанный ландшафт, картинка остается неизменной, тишина – тоже. Несколько минут я не двигаюсь с места, жду: ни домов, ни велосипедистки – ничего; конечно, свершилось. Все тот же опустошенный экран.

Я постоял еще – может, будет продолжение? Из какой-то полости в глубине меня изверглась отрыжка со вкусом виски. Идти было некуда, сколько времени – неизвестно. Мои часы показывали североамериканское восточное.

5

Мы уже встречались с ним, здесь же, в пищеблоке, – с человеком в монашеском плаще. Когда я вошел, он не поднял глаз. В окошечке рядом с дверью появилась еда, я взял тарелку, стакан и приборы и сел за стол наискосок от незнакомца, по другую сторону узкого прохода.

Лицо у мужчины было вытянутое, большие руки, яйцеобразная голова, остриженная почти наголо – до редкой седой щетины. Плащ тот же, что и в прошлый раз, старый, мятый, лиловый с золотым орнаментом. С прорезями для рук. А в прорезях – руки в рукавах полосатой пижамы.

Я изучил содержимое тарелки, съел немного и решил сделать вид, что незнакомец говорит по-английски.

– А что мы едим?

Он посмотрел в мою тарелку, не глядя, однако же, на меня.

– Это называется утренний плов.

Я съел еще, попробовал связать вкус с названием.

– Из чего он, не подскажете?

– Морковка, лук, баранина да рис.

– Рис я распознал.

– Оши нахор, – сказал мужчина.

Поели молча.

– А что вы здесь делаете?

– Беседую с умирающими.

– Убеждаете?

– В чем мне их убеждать?

– Что будет продолжение. Пробуждение.

– Вы в это верите?

– А вы?

– А я, пожалуй, и не хочу. Просто беседую с ними о смерти. Тихо и спокойно.

– Но сама идея. Цели, ради которых все это затеяно. С ними вы не согласны?

– Я хочу умереть и покончить на этом. Вы хотите умереть?

– Не знаю.

– Какой смысл жить, если в конце концов не умрешь?

Я слушал его речь и пытался определить, не восходит ли она к некоей обособленной ветви английского, а интонацию, модуляции, может быть, сгладило время, традиции и влияние других языков.

– Как вы попали сюда?

Он задумался.

– Может, кто-то что-то сказал. А я решил сюда заглянуть. Я жил в Ташкенте во время тамошних беспорядков. Сотнями люди гибли по всей стране. Людей в кипятке варили. Средневековое сознание. Всегда у меня так: оказываюсь в стране, когда там беспорядки, насилие. Я выучился говорить по-узбекски и занимался с детьми одного местного чиновника. Учил их английскому, каждое слово объяснял, а еще помогал чем мог его жене, она уже не первый год болела. Выполнял функции духовного лица.

Он зачерпнул плова, пожевал, проглотил. Я сделал то же самое, ожидая продолжения. Еда приобрела вкус, соответствующий ингредиентам, – теперь, когда мне их назвали. Баранина. Утренний плов. Моему собеседнику, кажется, больше ничего было сказать.

– А вы духовное лицо?

– Я был членом постъевангелической общины. Со Всемирным советом церквей мы расходились радикально. Всего нас было семь групп, в разных странах. Потом их число менялось. Пять, семь, четыре, восемь. Мы строили здания, самые примитивные, и там собирались. Мастабы. По образцу древнейших египетских гробниц.

– Мастабы?

– Здания с плоской крышей и наклонными стенами, прямоугольные в плане.

– Вы встречались в гробницах.

– И упорно ждали, когда придет год, день, минута...

– И что-то случится.

– Но что же? Метеорит, железно-каменная глыба. Или астероид, километров двести в диаметре, выпадет из космоса. Мы разбирались в астрофизике. Небесное тело врежется в Землю.

– Вы этого хотели.

– Желали всей душой. И непрестанно об этом молились. Оно прилетит оттуда, с необъятных галактических просторов, из беспредельного пространства, в котором заключена материя, каждая ее частица. Все тайны.

– И это случилось.

– В океан падала всякая всячина. Сошедшие с орбиты спутники, зонды, обломки летательных аппаратов, космический мусор – рукотворный. И всегда в океан. А потом это произошло. Метеорит, проходя по касательной, врезался в Землю.

– В Челябинске, – сказал я.

Он не подхватил слово, дал ему повисеть в воздухе. Оно уже само по себе являлось доказательством. Такое и правда случается. И те, кто доверяется вероятности подобных событий, каков бы там ни был масштаб и разрушения, – не фантазеры.

– Сибирь для того и на своем месте, чтоб такие штуковины ловить, – сказал незнакомец.

Я понял, что собеседника он не видит. Как всякий бродяга, этот человек перестал различать имена и лица. Одни заменялись другими, когда он переходил из комнаты в комнату, из страны в страну. Он скорее рассказывал, чем разговаривал. Он следовал своим извилистым путем, где регулярно встречались желающие занять место очередного человеческого существа, которое сядет рядом и будет слушать.

– Здесь, говорят, есть хоспис. Там вы и беседуете с умирающими?

– Это место называют хосписом. И убежищем называют. А я не знаю, что это. Каждый день отправляюсь туда, в многоуровневое подземелье, с сопровождающим.

Новейшее оборудование, говорил он, квалифицированный персонал. Однако же ему вспоминается Иерусалим XII века, монахи-рыцари, заботившиеся о паломниках. И кажется порой, что он находится среди прокаженных, больных чумой, глядит в изможденные лица словно с полотен старых фламандских мастеров.

– Кровопускания, клизмы, омовения – я представляю себе, как рыцари, тамплиеры, всем этим занимались. И люди, больные, умирающие, шли к ним отовсюду, молились за них.

– А потом вспоминаете, кто вы и где вы.

– Я помню, кто я. Госпитальер. А где я, не имеет никакого значения.

Росс тоже говорил о паломниках. Может, никто и не собирался создавать здесь второй Иерусалим, но люди долго шли сюда, чтобы взойти на новую ступень существования или хотя бы с помощью науки сохранить свое тело, свою ткань от разрушения.

– В вашей комнате есть окно?

– Мне не нужно окно. Что я за ним увижу? Беспросветное, тупое отчаяние.

– А сама комната, если у вас такая же? Не слишком маленькая?

– Комната для успокоения и раздумий. Можно поднять руку и дотронуться до потолка.

– Ну да, монашеская келья. И плащ. Все смотрю на ваш плащ.

– Нарамник называется.

– Плащ монаха. Но так не похож на монашеский. Они обычно серые, коричневые, черные или белые.

– Русские, греческие монахи...

– Да-да...

– Картезианцы, францисканцы, тибетские монахи, японские, монахи в Синайской пустыне...

– А ваш плащ, этот? Он откуда?

– Висел на каком-то стуле. До сих пор отчетливо помню, как увидел его.

– И взяли себе.

– Только взглянул и понял, что это мой. Мне предназначен.

Я мог бы начать расспрашивать. Чей стул, чья комната, в каком городе, в какой стране?

Но понял, что такое вмешательство в ход повествования будет оскорбительным.

– Чем еще вы занимаетесь? Кроме того, что помогаете людям в последний день и час?

– Только этим и занимаюсь. Беседую с людьми, благословляю. Они просят поддержать их за руку, рассказывают о своей жизни. Те, кто еще в силах говорить или слушать.

Незнакомец поднялся и оказался выше ростом, чем на первый взгляд. Он зашагал к двери. Я смотрел, как развеваются штанины его пижамных брюк – плащ только до колена доставал. А на ногах высокие кроссовки, черно-белые. Нет, считать его чудачком я и не думал. Чудачком он явно не был. Наоборот, в присутствии человека, который так выглядит, так говорит и которого направляет только случай, я почувствовал себя менее значительным. И понял, что плащ для него – ритуальный предмет, очень важный, – монашеский нарамник, шаманский костюм, в котором, как полагает хозяин, заключена потусторонняя сила.

– А что я пью? Чай?

– Зеленый чай, – был ответ.

Я ждал еще каких-нибудь слов на узбекском.

– Лет десять-двенадцать назад, – говорила Артис, – мне сделали операцию на правом глазу. А после недели щиток, его нужно было носить некоторое время. Я пришла домой, села в кресло. Росс тогда даже сиделку нанял – зря в общем-то. Мы сделали все строго по инструкции. Час я проспала в кресле, а когда проснулась, сняла щиток, огляделась вокруг и ничего не узнала. Изумилась. Но чему? Комната была та же, что и раньше. Кровать, окна, стены, пол. Но какие яркие, светящиеся... И покрывало, и наволочки – таких густых, глубоких оттенков, будто излучают что-то. Никогда в жизни такого не видела.

Мы сидели вдвоем, как накануне, мне приходилось наклоняться вперед, чтобы ее услышать. Артис помолчала, собираясь с силами, прежде чем снова заговорить.

– Я теперь знаю: когда мы смотрим, то получаем лишь часть информации, лишь намек, общее представление о том, что же перед нами на самом деле. Не могу объяснить подробно, по-научному, но уверена, глаза не сообщают нам всей правды. Только дают подсказку. А остальное мы додумываем сами, реконструируем действительность, если, конечно, существует в философском смысле то, что мы называем действительностью. Где-то здесь, в этом центре, проводят исследования, моделируют, как будет воспринимать мир человек будущего. Ставят эксперименты с роботами, подопытными животными, а может, и с больными вроде меня.

Теперь она смотрела прямо на меня. Я даже на мгновение увидел себя со стороны: сидит человек, а на него смотрят. Рослый мужчина с доисторической прической – спутанными густыми волосами. Женщина в кресле зондировала меня взглядом, и только это изображение я смог перехватить.

Но меня опять заместила другая картинка – представшая перед ней в тот день.

– Однако же это зрелище, привычная комната – преобразившаяся... – продолжила она. – А что я увидела за окном? Чистейшую, неистовую голубизну неба. Сиделке ничего не сказала. Да и что тут скажешь? А ковер? Боже мой! Раньше я думала: персидский – просто красивое название. Может, я преувеличиваю, но было в его цветах, в линиях, в симметрии узора и в теплом красноватом свечении такое, чему не придумать названия. Ковер меня заворожил, а потом оконная рама – белая, чисто белая, но никогда я не видела такой белизны. Я отказалась от обезболивающих – они ведь могли притупить восприятие, только глазные капли закапывала четыре раза в день. Белизна, бездонная сама по себе, без контраста – а мне он и не нужен был, – истинная белизна. А может, я приукрашиваю, прямо сейчас домысливаю? Но я точно помню, о чем тогда думала. Так вот как выглядит мир на самом деле? Такова реальность, которую мы не умеем видеть? Я думала об этом тогда, не потом. Таким видят мир животные? – думала я в самые первые минуты, когда смотрела из окна на небо и верхушки деревьев. Это мир, который способны видеть только животные? Мир ястребов и тигров, живущих на свободе.

Рассказывая, Артис жестикулировала, но едва-едва, взмахом руки отсеивала, разбирала воспоминания, образы.

– Я отправила сиделку домой и легла спать пораньше, но прежде снова надела щиток. Так мне рекомендовали. А утром снова сняла, ходила по дому, смотрела в окна. Да, зрение улучшилось, но снова стало обычным. То, первое ощущение прошло, и вещи больше не светились. Вернулась сиделка, Росс позвонил из аэропорта, я делала все, как велел врач. День был солнечный, пошла прогуляться. А может, дело не в том, что ощущение померкло или свечение угасло, просто произошла повторная супрессия. Ну и словечко. Мы должны видеть и мыслить в соответствии с возможностями нашего сознания – вот что имеет первостепенное значение. А как я хотела? Разве я особенная? Через несколько дней пошла к доктору. Начала все это ему рассказывать. А потом увидела его лицо и передумала.

Она говорила еще, временами теряла нить рассказа, сбивалась с интонации. Скажет слово или слог и уплывает куда-то, оглядывается, чтобы снова почувствовать то, что пробует описать. Тело ее сжалось, скрылось в складках халата, остались только руки и лицо.

– Но этим ведь дело не кончится, верно?

Мой вопрос ее обрадовал.

– Верно.

– Это снова произойдет?

– Вот именно. Об этом я и думаю. Я стану объектом клинических испытаний. Постепенно меня усовершенствуют. Одни части тела заменят, другие восстановят. Видишь, говорю как по писаному. Я беседовала с людьми, которые здесь работают. Меня соберут заново, атом за атомом. Даже не сомневаюсь, что после пробуждения буду воспринимать мир иначе.

– Таким, какой он есть.

– И может, ждать этого не так уж долго. Вот о чем я думаю, представляя себе будущее. Мне предстоит родиться заново в другой реальности – более сложной и в большей степени истинной. Тонкие, светящиеся контуры, и каждая вещь во всей своей полноте – священный предмет.

Песню о жизни долгой и счастливой она завела с моей подачи, теперь нужно как-то реагировать. А я не в теме, совсем не в теме. Артис знала строгие законы науки. Работала в разных странах, преподавала в университетах. Наблюдала, определяла, исследовала разные ступени человеческой эволюции, давала им объяснение. Но вот священные предметы – они где? Повсюду, конечно, – в музеях, библиотеках, храмах, в разрытой земле, в развалинах зданий из камня и глины, и Артис раскапывала их, держала в руках. Я представил, как она сдувает пыль со щербатой головы маленького бронзового божка. Но будущее, о котором

Артис сейчас говорит, – дело другое, чистая абстракция. Трансцендентность, надежда на некую поэтическую глубину, недоступную обычному человеку с обычными ощущениями.

– Ты знаешь, какие процедуры тебе предстоят? Конкретно? Как их будут проводить?

– Точно знаю.

– Ты думаешь о будущем? Каково это – вернуться? Ну хорошо, тело будет прежним или его усовершенствуют, но разум? В сознании никаких перемен не произойдет? Ты останешься собой? У тебя есть имя, прошлое, воспоминания, есть тайна в тебе и твоём имени, и с тем ты умираешь. А когда очнешься, все это сохранится? Будто ты просто спала долгодолго?

– Мы с Россом часто шутим на эту тему. Кем я стану после пробуждения? Может, душа покинет мое тело и переселится в другое? Забыла, как это называется. Или проснусь и решу, что я филиппинская летучая мышь. И закусила бы сейчас какой-нибудь бабочкой.

– А настоящая Артис? Она куда делась?

– Вселилась в маленького мальчика. Сына местного чабана.

– Метемпсихоз называется.

– Спасибо.

Я ничего вокруг не видел. Только эту женщину в кресле.

– Послезавтра, – говорю. – Или завтра?

– Без разницы.

– Завтра, кажется. Здесь сложно уследить за днями.

На мгновение она прикрыла глаза, а потом так взглянула на меня, словно впервые увидела.

– Сколько тебе?

– Тридцать четыре.

– Для тебя все только начинается.

– Что “все”?

Из задней комнаты появился Росс, в тренировочном костюме и спортивных носках, окутанный бессонницей. Взял у задней стены стул, поставил рядом с креслом Артис, сел, накрыл ладонями ее руки.

– Когда-то, – говорю ему, – в таком костюме ты бегал трусцой.

– Когда-то...

– Может, только не в таком брендовом.

– Когда-то я полторы пачки в день выкуривал.

– Бег помогал тебе справиться с курением?

– Со всем помогал справиться.

Сидели втроем. Давно уже, оказывается, мы не были вместе в одной комнате. Он, она и я. А теперь, подумать только, мы здесь – тоже в своем роде конвергенция, – а завтра они ее заберут. Так я себе это представлял. Придут и заберут ее. Привезут каталку с откидной спинкой, чтоб Артис могла сидеть. Принесут пузырьки, ампулы, шприцы. Приладят ей респиратор-полумаску.

– Мы с Артис вместе бегали, – сказал Росс. – Правда же? Вдоль Гудзона до Бэттери-парка и обратно. А в Лиссабоне, помнишь? В шесть утра бежали в горку по крутой улочке до часовни, откуда вид открывался... И в Пантанале бегали. В Бразилии, – это он для меня пояснил. – По верхней тропинке почти до самого леса.

А я думал про постель и трость. Мама умирает на постели, в дверях стоит женщина, ее подруга и соседка, навсегда оставшаяся безымянной, и опирается на трость – металлическую трость-ходунок с четырьмя растопыренными ножками.

Росс говорил, вспоминал, слова его превращались в бормотание. О зверях и птицах, которых они видели совсем близко – Росс всех их перечислил, и о растениях – их тоже пере-

числил, и о том, какой вид открывался с самолета, когда он завис на малой высоте над Мату-Гросу.

Ее придут и заберут. Закатят в лифт, отвезут вниз, на один из так называемых уровней. И там, в подземной морозилке, она умрет – врачи ей помогут, дадут какой-нибудь препарат, проведут сложнейшую медицинскую процедуру, а руководить всем этим будет массовое заблуждение, фанатичная вера, самонадеянность и самообман.

Накатила злость. Только теперь я понял, до чего противно мне все, что здесь творится. Но размеренный голос отца, ударившегося в воспоминания, заглушил мое возмущение, оно свернулось колечком и уснуло.

Кто-то вошел – мужчина с подносом, принес чайник, чашки, блюдца. Поставил поднос на раскладной столик рядом с отцовским стулом.

Все равно ведь она умрет. Дома, в своей постели, а рядом будет муж сидеть, пасынок, друзья. Или на этой заставе, на этом режимном объекте, который, кажется, и не на Земле.

Когда внесли чай, разговор прекратился. Молчали, пока мужчина не ушел. Потом Росс послунял палец, потрогал чайник. И бережно, стараясь не расплескать, всем налил.

Этот чай опять меня страшно разозлил. И чашки с блюдцами. И аккуратный отец.

– Здесь как в транзитной зоне, – сказала Артис. – Полно людей, они приходят, уходят. А есть другие – можно сказать, они тоже уходят, как я, но они и остаются, как я. Остаются ждать. Одно здесь постоянно – искусство. Его произведения не для зрителей. А для того, чтобы просто быть здесь. Они здесь, они часть этой конструкции, незыблемые, вечные. Цветные стены, декоративные двери, телеэкраны в коридорах. Другие инсталляции.

– Манекен, – добавил я.

Росс повернулся ко мне.

– Манекен? Где?

– Не знаю где. В коридоре. Женская фигура. Руки так сложила, будто защищается. Женщина цвета ржавчины. Голая.

– А еще где? – спросил отец.

– Не знаю.

– Других манекенов не видел? Других фигур, голых или одетых?

– Никаких больше не видел.

– А когда приехал? Что видел?

– Землю, небо, здания. Отъезжающий автомобиль.

– Еще?

– По-моему, я тебе говорил. Двоих парней у входа, потом они меня сопровождали. Увидел их, только когда подошел. Потом меня досматривали. Тщательно.

– А еще?

Я задумался, что же еще. И к чему в таких кошмарных обстоятельствах праздные разговоры. Или так оно и происходит в пограничных ситуациях? Мы скрываемся на нейтральной территории.

– У входа ты видел еще кое-что. В стороне, метрах в пятидесяти.

– И что же?

– Двух женщин. В длинных закрытых одеждах.

– Женщин в чадрах. Ну конечно. Стояли там на солнцепеке, в пыли.

– Тогда ты и познакомился с местным искусством, – сказал отец.

– Мне и в голову не пришло.

– Они стояли совершенно неподвижно, – продолжил отец.

– Манекены, – подсказала Артис.

– Чтобы их увидели или не увидели. Это не важно, – добавил отец.

– Никогда бы не подумал, что они ненастоящие. Я знал, как их одежда называется. Чадра. Или паранджа. Или как там еще. А остальное меня не интересовало.

Я подался вперед, взял у Росса чашку, передал Артис. Мы трое. Ее подстригли, укоротили виски, причесали. Подстригли словно по уставу, нарочно, чтобы обнажить вытянувшееся лицо, а глаза оставить широко открытыми, беспомощными. Но я смотрел еще пристальнее. Хотел понять, что она чувствует, вглядывался больше в душу, чем в тело, и в еле заметные паузы между словами.

– Сама себя чувствую искусственной, – сказала Артис. – Я лишь то, что считают мной. Над этими словами я задумался.

– У меня голос изменился, – продолжала она. – Он мне слышится каким-то неестественным. Вроде мой голос звучит, но звук исходит не от меня.

– Лекарства, – ответил Росс. – Все из-за них.

– Кажется, что он идет извне. Не всегда, но так бывает. Словно у меня есть сестра – сиамский близнец, с которой мы срослись бедрами, и это она говорит. Но и такое сравнение неверно.

– Лекарства, – повторил отец.

– Вспоминаю события, вроде бы происходившие. В определенном возрасте, я знаю, людям приходит на память то, чего на самом деле не было. У меня по-другому. События-то происходили, но кажется, что воспоминание о них ошибочно, что оно навязано. Как это говорится? Электрический сигнал неправильно проходит.

Я – лишь то, что считают мной.

Это бы высказывание предложить для анализа изучающим логику или онтологию. Мы ждали, когда Артис снова заговорит. Она произносила по несколько фраз за один прием, останавливалась, отдыхала, потом продолжала, и я заметил, что наклоняю голову вперед, будто в сосредоточенной молитве.

– Мне так не терпится. Передать вам не могу. Сделать это. Уйти в другое измерение. А потом вернуться. На-ве-ки. Повторяю это слово про себя. Снова и снова. Оно такое красивое. На-ве-ки. Повторяю его. Еще. И еще.

Как бережно она держала чашку – как реликвию, которую нужно хранить, а взять небрежно или неосторожно поставить – значит предать память целых поколений.

А рядом сидел Росс в бело-зеленом спортивном костюме и, видимо, в защитных спортивных трусах той же цветовой гаммы.

– Навеки, – повторил он.

Теперь была моя очередь, и я тоже выдавил из себя это слово – шепотом. Потом у Артис затряслись руки, я поставил свою чашку, протянул руку, взял чашку у нее и передал отцу.

Я боялся чужих домов. Бывало, после школы какой-нибудь приятель уговаривал меня пойти к нему – в его дом или квартиру – вместе уроки делать. И жизнь людей, других людей, которые не я, повергала меня в шок. Липкая изнанка чужой жизни – помойное ведро на кухне, сковородки, торчащие из раковины, – я не знал, как на это реагировать. Любопытствовать, забавляться, быть безразличным или чувствовать свое превосходство? Проходишь мимо ванной, а там с крючка вместо полотенца свешивается женский чулок, на подоконнике – пузырьки с таблетками стоят открытые, лежат опрокинутые, а в ванне – детский тапочек. Мне хотелось убежать, спрятаться – и от этих картин, и от своей брезгливости. Спальни с незастеленными кроватями, носки на полу, босая старуха в ночнушке – горбатая фигура, бормочущий рот – целая жизнь, съжившаяся в кресле у постели. Кто эти люди, как они живут час за часом, год за годом? Хотелось уйти домой, сидеть там и никуда не выходить.

Я думал, буду жить иначе, чем отец, сделавший карьеру в сфере международных финансов, жить с точностью до наоборот. Мы с матерью говорили об этом полушутя. Сделаюсь ли я поэтом, поселюсь ли в подвале, начну ли изучать философию или стану профес-

сором, специалистом по трансфинитной математике, в безвестном колледже где-нибудь на северо-востоке.

Но тут Росс стал покупать работы молодых художников, приглашать их в свои загородные владения в Мэне – он там построил мастерскую. Фигуративистов, абстракционистов, концептуалистов, постминималистов обоих полов, которым не хватало места, времени и спонсора. Я убеждал себя: Росс использует их, чтобы свести на нет мои попытки противопоставить что-то его распухшему портфолио.

Наконец я выбрал путь, вполне для меня подходящий. Консультант по перекрестному ценообразованию. Специалист по внедрению – кластерные и некластерные среды. Суть этих профессий исчерпывалась их описанием. Название работы равнялось ее смыслу. Работа смотрела на меня с мониторов, стоявших на столе, за которым сидел я, осваивался на своем месте, понимал, что оно как раз по мне, и полностью справлялся с осознанием этого факта.

А дома, на улице или в аэропорту, когда ожидаешь посадки, разве по-другому? Персональные средства связи – вот что дергает нас за ниточки, на этом наркотике я и жил. Прикосновение к клавише вызывает всплеск напряжения в нейронах – я вижу то, чего раньше не знал, да и не нужно оно мне было до тех пор, пока не оказалось на кончиках моих пальцев, где задержится на одно зыбкое мгновение, прежде чем исчезнуть навсегда.

У мамы был ролик, чтоб собирать ворсинки с одежды. Он меня гипнотизировал, уж не знаю почему. Я смотрел, как мама водит этой штуковиной по своему драповому пальто. Я пытался сформулировать, что такое ролик, не подглядывая в словарь. Сидел и думал, потом забыл, потом опять думал, до отупения, вечером и на следующий день, то и дело чиркал слова в блокноте.

Вращающееся цилиндрическое приспособление для удаления прилипших к одежде ворсинок.

Я решил не сверяться со словарем, но все равно испытал удовлетворение, будто справился с нелегкой задачей. Ролик казался мне старинным инструментом – может, чем-то таким лошадей чистили в XVIII веке. Я увлекся этим делом – пробовал давать определения вещам и даже отвлеченным понятиям. Что такое верность, что такое правда. Потом бросил, а то бы оно меня доконало.

Экология безработицы, сказал Росс из телевизора – на французском, с субтитрами. Я пробовал это осмыслить. Но побоялся: вдруг приду к выводу, что тут не просто претенциозный профессиональный жаргон, что термин имеет смысл и из него можно вывести целую серьезную дискуссию, затрагивающую важные проблемы.

Когда я нашел квартиру на Манхэттене, нашел работу и принялся искать другую, то, бывало, целые выходные гулял, иногда с подружкой. Была у меня одна, очень высокая и худая – складная, можно сказать. Она жила на перекрестке Первой авеню и Первой улицы, и я не знал, как пишется ее имя – Гейл или Гэйл, но решил сразу не спрашивать – сегодня, например, думал, что она Гейл, а завтра – что Гэйл, и пытался понять: может, от этого зависит, как я думаю о ней, смотрю на нее, говорю с ней и к ней прикасаюсь.

Комната как длинный пустой коридор. Кресло, кровать, голые стены, низкий потолок. Сидя в этой комнате и путешествуя по коридорам, я чувствовал, что деградирую до самого примитивного своего “я”, и все мое бахвальство исчезло, я его просто надумал – нужно же было в этом месте как-то защитить себя.

Запах чужих домов. Один парень при мне вырядился в материнскую шляпу и перчатки – могло быть и хуже, конечно. А еще рассказал, что им с сестрой по очереди приходится натирать отцу ногти на ногах мазью – от какого-то мерзкого ползучего грибка. Мой приятель считал это забавным. А я чему смеялся? Он все твердил “грибок, грибок”, пока мы сидели за кухонным столом и делали уроки. В блюдце, в луже пролитого кофе, расплзался откушенный тост. Синус косинус тангенс. Грибок грибок грибок.

Мысль насчет Гейл и Гэйл – пока что самая интересная из когда-либо приходивших мне в голову, хотя и не дала ничего нового в плане выявления зависимости между написанием имени женщины и гладкостью скольжения мужской руки по телу этой женщины.

Системный администратор соцсети. Специалист по планированию человеческих ресурсов – обеспечение глобальной мобильности. Перемещаться с работы на работу и даже из города в город – у таких, как я, это в крови. Я не вникал в суть предмета, никогда почти, каков бы предмет ни был. Протестировать самого себя, поставить над собой эксперимент – вот в чем смысл. Испытание собственного разума – испытание без негативного подтекста. Нечего терять. Менеджер отдела разработок – имитационные модели.

Однажды Мэдлин высказалась по этому поводу – редкий случай. Мы обедали вместе в музейном буфете, она перегнулась через стол и прошептала:

– Подвижный мальчик. Аморфный мужчина.

Монах сказал, что может встать со стула, поднять руку и дотронуться до потолка. Я попробовал это проделать в своей комнате – получилось, только пришлось на цыпочки встать. Сел обратно на стул и содрогнулся – почувствовал себя затерянным.

А вот я еду в метро с Полой из Туин-Фолс, Айдахо, энергичной туристкой и управляющей в стейк-хаусе, а в другом конце вагона мужчина, он обращается к пассажирам, он нуждается, бедствует – всегда эта фигура режет глаз: безработный, бездомный с бумажным стаканчиком в руках идет по поезду, из вагона в вагон, и рассказывает свою историю. Вокруг – категорически непроницаемые лица, но мы, бывалые пассажиры, мастера поглядывать украдкой, конечно, видим его, наблюдаем, как он ухитряется идти прямо по вагону, который раскачивает сейсмическая волна. А вот Пола смотрит на него открыто, изучает, оценивает – плевать она хотела, что так не делается. Час пик, мы оба стоим, и я использую хоккейный приемчик – пихаю ее бедром, но она не обращает внимания. Метро – вотчина нищего или вроде того, все – вниз до Рокуэя и вверх до Бронкса, и ведет он себя так, будто имеет право на наше сочувствие и даже некоторый авторитет, который мы с недоверчивым уважением признаем, хотя, конечно, предпочли бы, чтоб этот человек испарился. Я кладу два доллара в бумажный стаканчик, снова пихаю Полу – на сей раз просто для смеха, бездомный толкает дверь и переходит в соседний вагон, и теперь уже не на него, а на меня посматривают подозрительно.

Вхожу в спальню. Настенного выключателя нет. Лампа стоит на комодe рядом с кроватью. В комнате темно. Закрываю глаза. Делают ли так другие? Закрывают ли глаза, входя в темную комнату? Это просто глупая причуда? Или мое поведение имеет психологическую подоплеку, которая как-то называется и где-то описана? Есть разум, и есть мозг. Стою и думаю об этом.

Тащусь за Россом по залам библиотеки Моргана – мы пришли рассматривать корешки книг XV века. Отец стоит перед выставочным стендом, уставившись на украшенную драгоценными камнями обложку Евангелия из Линдау. Россу удалось получить доступ на второй и третий ярусы и галереи – после рабочего дня; мы карабкаемся по потайной лестнице, перешептываемся, проходя мимо ореховых книжных шкафов с инкрустацией. Библия Гуттенберга, другие книги – на полках, за перекрестьем изящной решетки, один век сменяется другим.

Вот таким был отец. А какой была моя мать?

Мэдлин Сиберт из маленького городка на юге Аризоны. Где на почтовой марке – только кактус, так она говорила.

Мама вешает пальто на плечики, поворачивает крючок, чтоб можно было их нацепить на дверцу шкафа. Проводит роликом по спинке пальто. Мне приятно наблюдать за ней, потому, наверное, что, думается, мама находит какое-то нехитрое удовольствие в этом обыч-

ном действии – накинуть пальто на плечики, предусмотрительно развесить на дверце шкафа и роликом собрать прилипшие ворсинки.

Как сформулировать, что такое ворсинка, думаю я.

Что такое плечики. И пробую сформулировать. Такие эпизоды врезаются в память и застревают – среди прочих странноватых реликвий юности.

Я приходил в библиотеку еще несколько раз – в рабочее время, на первый этаж, где гобелен над камином, но отцу ничего не сказал.

6

Трое мужчин сидят по-турецки на циновках, позади – только небо. На них просторные одежды, неодинаковые, двое склонили головы, один смотрит прямо перед собой. Возле каждого стоит широкий сплюснутый сосуд – то ли бутылка, то ли жестянка. А у двоих еще по свече в простом подсвечнике. Один за другим, слева направо – кажется, это выходит случайно, – они берут свои бутылки и какой-то жидкостью поливают грудь, руки, ноги. Затем двое закрывают глаза, медленно обливают себе головы и лица. Третий – посередине – подносит бутылку к губам и пьет. Я вижу, как искажается его лицо, непроизвольно он открывает рот, чтобы выпустить пары – керосина, бензина, а может, лампового масла. Остатки выливает себе на голову и ставит бутылку на землю. И остальные ставят. Те, что сидят по бокам, подносят горящие свечи к своим рубашкам, потом к штанам, а средний достает коробок со спичками из нагрудного кармана, чиркает раз, другой, третий и наконец высекает пламя.

Я отступил от экрана. Увидев, как изменился в лице этот мужчина, когда керосин прошел по пищеводу ему в самое нутро, я и сам скривился, да так и стоял. Горящие люди с открытыми ртами реяли надо мной. Я отступил еще. Бесформенные, беззвучно кричащие фигуры.

Я отвернулся, пошел по коридору. Но не мог отделаться от образов, от этих кошмарных мгновений, от мучительного зрелища: мужчина чиркает спичкой и не может ее зажечь. Я так хотел, чтоб у него получилось. Наверное, сидеть меж горящих товарищей, чиркать спичкой и видеть обугленную головку – одну, другую, третью – было невыносимо.

В конце коридора я увидел кого-то – это женщина, она смотрит на меня. А я вот он – заплутавший путешественник, никем до сих пор не замеченный, человек, спасающийся бегством от телеэкрана. Картинка все еще стоит перед глазами, угнетает, но женщина не смотрит мне за спину. Наверное, экран уже потух или показывает голое поле под серым небом. Я подхожу, она делает мне знак – слегка склоняет голову влево, и мы сворачиваем в узкий коридор, к которому под прямым углом примыкает другой длинный коридор.

Женщина маленького роста, постарше меня – лет сорока, в длинном платье и розовых тапочках. Про самосожжения я ничего не сказал. Надо соблюдать порядок: ничего не говори и ко всему будь готов. Нога в ногу мы шли по коридору. Я поглядывал на нее: облегающее платье в цветочек, темные волосы стянуты в тугий узел, перехвачены лентой. Она не была манекеном и действие происходило не на экране, но я невольно думал, имеет ли этот временной отрезок протяженность и глубину или он лишь еще один в череде отдельных эпизодов, разграниченных запертыми дверьми.

Вошли в коридорчик, вроде бы упирившийся в глухую стену. Моя провожатая произнесла пару коротких слов, и в стене открылось смотровое окошко. Я сделал большой шаг вперед, вдруг оказался на возвышении и в окошко увидел заднюю стену длинной узкой комнаты.

На этой стене увидел консоль, а на ней – огромный человеческий череп. Череп с трещинами, от времени покрывшийся пятнами – цвета тусклой меди и бронзы, а сам – мертвенно-серый. Глазницы в обрамлении драгоценных камней, щербатые зубы покрыты серебряной краской.

Потом я рассмотрел и саму комнату – обстановка спартанская, стены и пол из тесаного камня. За поцарапанным дубовым столом сидят мужчина и женщина. На столе ни табличек, ни бумаг. Мужчина и женщина разговаривают, может, и не друг с другом, а на деревянных скамьях, обратившись к ним лицом, ко мне спиной, непринужденно расположились девять человек.

Я понял, что сопровождавшая меня женщина ушла, но не утерпел и оглянулся, как сделал бы всякий, – удостовериться. Ушла, конечно, – позади меня, шагах в пяти, закрывалась раздвижная дверь.

Женщина за столом рассказывала о грандиозных, многолюдных действиях: верующие в белых одеждах, Мекка, хадж, всеобщая молитва, миллионы, из года в год, индуисты на берегах Ганга, миллионы, десятки миллионов, праздник бессмертия...

Свободная блуза, платок на голове – в этом наряде она казалась хрупкой, говорила по-английски, спокойно и четко, и я гадал, из каких краев ее изящный акцент и кожа цвета корицы.

– Представьте себе: на балкон над площадью Святого Петра выходит папа римский. Внизу – тысячи людей, они пришли получить благословение, – говорит женщина, – получить надежду. Папа пришел благословить их будущее и дать надежду, что последним вздохом не закончится жизнь души.

Я попробовал представить себе, как стою среди бесчисленных сдавленных тел, среди толпы, объятай священным трепетом, но не смог поймать ощущение.

– Здесь же мы имеем дело с малым, частным, требующим кропотливого труда. Один человек входит в криокамеру, через некоторое время – другой и так далее. Сколько их, этих людей, в обычный день? Здесь нет обычных дней. И нет ничего нарочитого. Наши тела не сгибают раскаяние, смирение, покорность, благоговение. Мы не целуем ног, не целуем колец. У нас нет молитвенных ковриков.

Женщина подалась вперед, одной рукой сжала другую, и в каждой ее продуманной фразе звучало подлинное воодушевление – так мне хотелось думать.

– Но связаны ли мы с религиями и обрядами, давно существующими? Возможно, наша революционная технология лишь обновляет и углубляет традиционные концепции вечной жизни, которых пруд пруди?

Один из слушателей обернулся и посмотрел в мою сторону. Оказалось, это отец, он вроде бы ожидал меня увидеть и кивнул. Как будто говорил: вот они, два человека, чьи идеи, чьи гипотезы легли в основу этого начинания. Светлые умы, как он недавно сказал. А остальные, видимо, благодетели, вроде Росса, спонсоры, богачи – сидят в каменных стенах, на скамьях без спинки и постигают философские основы Конвергенции.

Заговорил мужчина – на каком-то из центральноевропейских языков. Послышалось журчание, и его иностранная речь трансформировалась в английскую – монотонную, цифровую, бесполоую.

– Это и есть будущее – это труднодоступное, осевшее пространство. Плотное, однако в некотором смысле иллюзорное. Его координаты заданы из космоса. И одна из наших задач – сформировать сознание, которое сольется с этой средой.

Маленький кругленький мужчина, курчавый, высоколобый. Он все время моргал – человек-мигалка. Говорил с усилием и будто бы помогал себе рукой, совершая вращательные движения.

– Считаем ли мы себя живущими вне времени, вне истории?

Женщина вернула всех нас с небес на землю.

– Надежды и мечты относительно будущего часто не учитывают реалий, сложностей современной жизни на нашей планете. Мы это понимаем. Голодные, бездомные, заложники, враждующие группировки, религии, секты, нации. Экономические кризисы. Природные катаклизмы. Сможем ли мы защититься от терроризма? Сможем ли предотвратить кибератаку? Будем ли и правда жить здесь автономно?

Говорящие, по-моему, обращались к кому-то помимо слушателей. Вероятно, в комнате работали устройства видео- и аудиозаписи, только я их не видел, и прежде всего беседу эту организовали, чтоб отснять материал для архива.

Вероятно также, что о моем присутствии никто, кроме меня, отца и сопровождающей с завязанными в узел волосами, знать не должен был.

Дальше речь шла о гибели – всеобщей. Женщина опустила глаза и разговаривала теперь с грубой деревянной столешницей. Я подумал, что она, наверное, из тех, кто время от времени постится, целыми днями обходится без пищи, только выпивает немного воды. А в молодости, может быть, жила в Англии, в Америке, с головой погружалась в занятия и научилась уходить, прятаться от мира.

– Мы во власти нашей звезды, – сказала она.

Неведомое Солнце. Говорили о солнечных бурях, вспышках и супервспышках, корональных выбросах массы. Мужчина подыскивал подходящие сравнения. Трудно объяснить, но его слова о земной орбите будто бы задавали ритм круговым движениям руки. Я смотрел на женщину, которая склонила голову и некоторое время молчала – на фоне миллиардов лет, нашей беззащитной планеты, комет, астероидов, случайных столкновений, уже вымерших и пока еще исчезающих видов.

– Катастрофа – страшилка нашего времени.

Кажется, человек-мигалка начинал входить во вкус.

– Мы находимся здесь, разместились здесь еще и для того, чтобы разработать систему защиты от бедствий, способных поразить нашу планету. Моделируем ли мы конец света, дабы изучить его и, может быть, выжить? Корректируем ли будущее, перемещая его в наше время, в текущий период? Придет день, когда смерть сделается просто неприемлемой, даже если жизнь на планете станет еще уязвимей.

Я представил, как дома он сидит во главе стола, за семейным обедом, в заставленной мебелью комнате – в эпизоде из старого фильма, словом. Наверное, этот человек был профессором, но оставил университет, чтобы в здешнем осевшем, как он выразился, пространстве, проверить на прочность свою теорию.

– Идея катастрофы встроена в мозг изначально.

Надо дать ему имя. Придумаю имена им обоим – от нечего делать и чтобы, так сказать, оставаться активным участником процесса, усложнить свою незначительную роль конспиратора и тайного свидетеля.

– Вот спасение от того, что каждый из нас смертен. Катастрофа. Она преодолевает все внушающие страх немощи нашего тела и разума. Мы встречаем смерть, но не в одиночку. Мы исчезаем в эпицентре урагана.

Я слушал его внимательно. И ни одному слову не верил, хотя перевод был хороший. Поэтические мечтания, больше ничего. Не имеющие отношения к настоящим людям, настоящим страхам. Или это я недалекий, не вижу дальше своего носа?

– Мы здесь, чтобы постигнуть силу одиночества. Мы здесь, чтобы переосмыслить все, что касается смерти. Мы переродимся в иную форму жизни – в киберлюдей, войдем во Вселенную и будем говорить с ней на другом языке.

Я придумал несколько имен, но все отверг. А потом решил: пусть будет Сабо. Может, в стране его происхождения таких наименований и не давали, ну да неважно. Здесь нет страны происхождения. Хорошая фамилия. Подходит к его раздувшейся фигуре. Миклош Сабо. Простецкое, земное имя – отличный контраст с голосом электронного переводчика.

Теперь я рассматривал женщину – она говорила. Говорила, ни к кому не обращаясь. Говорила в пространство. Ей нужно только имя. Фамилии нет, семьи нет, нет связей, нет увлечений, нет места, куда нужно вернуться, нет причин не быть здесь.

Платок на голове – знамя ее независимости.

– Одиночество, да-да. Ваше тело заморожено, помещено в саркофаг, в капсулу, – представьте только, как вы одиноки. Что если вы будете осознавать себя? Что если новые технологии это предусматривают? Вот с чем вы можете столкнуться. Активное сознание. Одино-

чество в смертный час. Подумайте об этом слове – “одинокий”. *Alone*. От среднеанглийского *all one*. Совсем один. Вы отбрасываете личность, личину. Личина – это маска, вымышленный персонаж сумбурной драмы, которая и есть ваша жизнь. Маска сорвана, и вместо личины появляется вы, в истинном смысле этого слова. Совсем один. Ваше “я”. Что такое “я”? То, чем вы являетесь сами по себе, без других людей, друзей, знакомцев, любимых, детей, без улиц, по которым ходите, без пищи, которую едите, без зеркал, в которые смотрите. Но являетесь ли вы кем-то сами по себе?

Артис сказала: чувствую себя искусственной. Может, того самого, отчасти вымышленного персонажа, которому предстоит переродиться, или умалиться, или возвеличиться, превратившись в истинное “я”, помещенное на время в морозилку, она и имела в виду? Об этом думать не хотелось. Хотелось подобрать женщине имя.

Она говорила с расстановкой о сущности времени. Меняется ли в криокамере представление о временном континууме – прошлом, настоящем, будущем? Осознаются ли дни, годы, минуты? Или такая способность сходит на нет, а потом исчезает? Если вы утратите чувство времени, много ли в вас останется человеческого? Или человеческого станет больше, чем когда-либо? Или вы превратитесь в эмбрион, в еще не рожденное?

Она посмотрела на Миклоша Сабо, профессора из Старого Света, и я вообразил его знаменитым философом годов этак из тридцатых, который носил костюм-тройку и имел преступную любовную связь с женщиной по имени Магда.

– Время – вещь слишком сложная, – изрек он.

Как тут не усмехнуться. Я стоял, сгорбившись, у смотрового окошка, а находилось оно чуть ниже уровня глаз, и опять отвлекся на череп у дальней стены – местный артефакт, возможно, похищенный, который уж никак не ожидаешь увидеть в этом месте, где к смерти подходят по-научному. Череп был раз в пять больше обычного человеческого и в плоском шлеме, похожем на тибетейку, – вначале я его хорошенько не рассмотрел. Этот впечатляющий головной убор изготовили из крошечных птичьих фигурок – череп облепила золотая стая, сцепленная кончиками крыльев.

Голова гиганта выглядела настоящей, мертвая, бессмысленная, а ее художественное оформление, ее серебристый оскал приводили в замешательство – трудно умилиться такому народному творчеству, уж больно оно злобное и ехидное. Вот если б убрать из помещения людей и мебель, тогда, среди каменных стен и каменного холода, этот череп был бы как раз на месте.

В комнату вошли двое мужчин – близнецы, высокие, белокожие, в старых рабочих брюках и серых футболках. Встали по разные стороны стола и без всякого вступления заговорили по очереди, без заминки передавая друг другу слово.

– Первая доля секунды первого галактического года. Мы становимся гражданами Вселенной.

– Здесь, конечно, есть вопросы.

– Когда нам удалось продлить жизнь и приблизиться к тому, чтобы стать существами, вечно возобновляемыми, что случилось с нашими импульсами, нашими стремлениями?

– С социальными институтами, которые мы создали.

– Мы строим цивилизацию будущего, где будут царить апатия и распущенность?

– Разве смерть не благо? Разве не она определяет ценность нашей жизни, минута за минутой, год за годом?

– И много других вопросов.

– Разве этого достаточно – жить немного дольше благодаря современным технологиям? Нужно ли продлевать жизнь еще, еще и еще?

– Разве избыточная, тестообразная людская масса не обесценивает новейшие достижения науки? Зачем это допускать?

- Разве бессмертие, в буквальном смысле слова, не умаляет искусство – в том виде, в каком оно еще сохранилось, его шедевры, не превращает их в ничто?
- О чем будут писать поэты?
- Что случилось с историей? Что случилось с деньгами? Что случилось с Богом?
- И много других вопросов.
- Разве мы не помогаем населению бесконтрольно расти, увеличивая нагрузку на окружающую среду?
- Так много живых существ и так мало места.
- Не превратимся ли мы в планету, населенную горбатыми стариками, десятками миллиардов стариков с беззубыми улыбками?
- И как быть с теми, кто умирает? С остальными. Всегда ведь будут остальные. Почему одним сохраняют жизнь, а другие умирают?
- Половина людей меняет кухни, а другая половина голодает.
- Нам хочется верить, что любой недуг, поражающий разум и тело, можно будет излечить, если продолжительность жизни увеличится до бесконечности?
- И много других вопросов.
- Жизнь конечна, и это ее определяющее свойство.
- Природа хочет истребить нас и вновь стать первозданной, неиспорченной.
- Ценны ли мы, если живем вечно?
- Перед лицом какой последней истины мы окажемся?
- Разве не потому мы дороги близким, что их терзает мысль о нашей смерти, окончательной и бесповоротной?
- И много других вопросов.
- Что значит умереть?
- И где находятся умершие?
- Когда мы перестаем быть теми, кто мы есть?
- И много других вопросов.
- Что случилось с войной?
- Положил ли прогресс конец всем войнам или начало конфликту иного масштаба – всеобщему?
- Когда индивидуальная смерть уже не будет неизбежной, что станет с притаившейся угрозой ядерного уничтожения?
- Исчезнут ограничения, сдерживавшие людей столько лет?
- Ракеты скажут свое слово и сами выстрелят из установок?
- Есть ли у техники инстинкт смерти?
- И много других вопросов.
- Но мы отмечаем эти вопросы. Они не ухватывают сути нашего начинания. Мы хотим расширить границы человеческой сущности – расширить, а потом превозмочь. Мы хотим сделать все, на что только способны, чтобы изменить сознание человека и перенаправить импульс цивилизации.

И дальше в таком же духе. Близнецы не были учеными или социологами-теоретиками. А кем же? Авантюристами, но какого рода, я пока не вполне понимал.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.